
Проза

Николай ФОТЬЕВ

ДВА РАССКАЗА

ПОЛОНЕЗ НА БАЛАЛАЙКЕ

С тех пор, как Павел Данилович из деревни переселился в город, не раз уж встречался он с Юркой Братшиным. И все как-то мимолетно. Братшин обычно возникал откуда-нибудь из ворот или из-за угла, нагруженный малярным инструментом, — шел на работу или с работы. Зимой и летом в такой же робе, какая запомнилась Павлу Даниловичу еще в пору учебы, когда под Юркиным руководством не очень обеспеченные студенты ходили «каячить» по пристаням, товарным станциям и складам. Широкополая заношенная шляпа-охлопень, просторная мягкая блуза, широкие, как у запорожского казака, шаровары и кирзовые сапоги... Все это обрызгано краской, известью, припорошено цементной пылью. Сам Юрка высок, чуть сутуловат. Шея вытянута вперед, будто он всегда видит что-то интересное. Холодно поблескивают очки...

В ту пору в шутку Юрку величали: Вожачок, Атаман, Челкаш. А он свою бригаду: «хевра», «сарынь» или «бригада ух». Ворвется в общежитие и прямо с порога орет: «Хевра! Каяк имеется!..» И «хевра», поспешно сменив одежонку, отправлялась вслед за Юркой туда, где он надыбал этот самый «каяк», то есть возможность заработать.

Юрка был близорук, и потому первым при встрече обычно здоровался Павел Данилович.

— Здравствуй, Юра! — говорил он радушно и норовил остановиться, разговор затеять.

— Здравствуйте! — быстро всем корпусом клевал Юрка, и в глазах его затаивалось выражение, которое замечается у людей то ли почитающих, то ли презирающих начальство. Клевал этак, сверкнув очками, и — мимо, дальше. А ведь был когда-то свойским парнем...

На этот раз Павел Данилович настроился остановить Братшина принудительно. Дескать, погоди, Юрка... Впрочем, какой же он Юрка?.. У него, наверно, уж дети выросли. Да что — дети. Может, внуки появились.

«М-м... Как же его по батюшке? А, черт! Тогда ведь все просто было: «Юрка», «хевра», «каяк», «сарынь»... А хорошо бы сейчас удивить его полным именем-отчеством. «Здравствуй, Юрий Иванович! Или: Петрович!» Небось по-другому глянул бы, остановился бы».

Павел Данилович стоял между тротуаром и обочиной, асфальтированной улицы, поджидая машину, а Братшин шагах в пятидесяти «базарил» с каким-то солидным мужчиной пенсионного возраста. Стоял непринужденно, поставив у ног обляпанные краской ведра и уместив на них долговязые кисти. Похоже, они обсуждали что-то или выясняли. Братшин сильно клонился вперед, стараясь, видно, не слыш-



Николай Иванович Фотьев родился на Алтае в 1927 году. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт. Работал главным зоотехником в МТС и районных сельхозинспекциях, корреспондентом районной и областных газет.

Н. И. Фотьев автор книг рассказов и повестей: «Те далекие свидания», «Мужчины в доме», «Вы остаетесь за нас». Его перу принадлежит также несколько книг басен и очерков.

Живет в Благовещенске.

Член Союза писателей СССР.

ком возвышаться над собеседником, и, выкидывая в сторону длинную руку, выразительно грозил кому-то пальцем. Ишь завелся! Заканчивал бы скорей. А то машина «подскочит» — и опять словом не обмолвишься. А остановить Юрку надо бы... А то как-то неудобно получается. Вместе учились, «каячили». Юрка выручал, можно сказать. Найти выгодный «каяк» и удачно закрыть наряд Юрка умел. И вот — нате вам! «Здравствуйте», и — мимо. Что же он думает обо мне? Может, ерунду всякую...

— Здравствуй, Юрий! — простецки и приветливо сказал Павел Данилович, заступая Братшину дорогу.

— Здравствуйте, товарищ Чухарев! — мотнул головой Братшин, будто семечко склюнул, и этак галантененько отступил в сторонку, стараясь бочком проскользнуть и не задеть важного человека кистями или ведрами. А Чухарев поспешно сделал почти полный оборот, не опуская глаз с него и стараясь вовлечь в разговор.

— Куда же ты все время торопишься? Встречаемся, понимаешь, и даже словом, по-человечески, не обмолвимся! Как живешь, Юра?

Братшин — весь внимание и почтение. В одной руке — ведро, в другой — кисти, которыми красят высокие стены и потолки.

— Живем. Работаем. Кто не работает, да не ест. — И ни улыбки, ни ухмылки. Только плутовато-шутовское что-то в глазах.

— Как здоровье, дети?

— Все нормально, товарищ Чухарев.

— У тебя же их двое было, я помню.

— Трое при вас было. Да еще одного нашли.

— О! Молодец! А у меня — один... Что ж они... учатся еще или работают?

— Старший речное закончил. Средний — геологоразведочный. Дочь поступает в консерваторию. Младший в десятом доучивается. На здоровье не жалуемся.

Павел Данилович хотел было упрекнуть Братшина за столь официальный тон и вообще за странное поведение, но тот продолжал «рапортовать»:

— Вот кистью да мастерком хлеб зарабатываем. Недавно самому товарищу Сметанину квартирку отделали. Во! — И, приподняв ведро, висевшие на руке, оттопырил большой палец. — А теперь вот больничку строим...

Тут машина подкатила, остановилась в самую притирку, открылась дверца, высунулась большая, красная рука с большими, точно компас, часами. Послышалось паническое:

— Павел Данилович! Опаздываем! Паром через десять минут отходит! Опять лишнего стоять!..

Братшин тотчас вежливо откланялся, отпятился за машину и

зашагал наискосок через улицу к строящейся поликлинике. А Чухарев, глядя вслед ему, запоздало, неумело крикнул:

— Суворова разыгрываешь, что ли?! — И, помедлив, полез в машину. — Вот это поговорили! По душам...

— Знакомый маляр? Насчет побелки-покраски? Колерок навести «ответственный»? — проговорил уже менее заполошным голосом шофер.

Шофера звали не Михаилом, не Мишей, а Мишкой. Из-за характера. Не первый год возил Мишка работников областного управления сельского хозяйства, в том числе — и Павла Даниловича, а все трудно было привыкнуть к манерам его, вернее, к словечкам да шуточкам панибратским. Неизвестно, как при других, а при Павле Даниловиче Мишка особенно не церемонился. Причин тут могло быть несколько. Первая: просто Мишка веселый, болтливый, неотесанный, и энергия бьет из него. Второе: совсем не начальственная внешность Павла Даниловича. Все есть: плечи, грудь, животик, а лицо слишком простое, крестьянское. Нос махонький, весело вздернутый, светлые глазки сощурены, верхняя губа слегка двоится. Посмотреть, так Павел Данилович только и делает, что шутит да улыбается, хотя в это время ему, может, вовсе не до шуток.

А если он, Павел Данилович, напускал на себя казенную строгость, так это было еще смешнее. Он давно уже не делал этого. А когда-то он даже френч носил, галифе... Но, кроме конфуза, ничего не вышло. Молодой был, глупый. А время такое шло, что даже мало-мальское начальство вроде бы как обязано было «выглядеть» и портфель носить. Попыжился он так с полгодика да и плюнул на свою начальственность. Дошло до ума, слава богу.

А в последнее время у Павла Даниловича еще и голосишко сдал. Переболел пневмонией, сделался хроником-астматиком, и вот — пожалуйста. Сиплый голосишко, петушиный.

Еще одной причиной могло быть то, что к «сельхозникам» Мишка-шофер вообще относился вроде как к низшей касте, что ли. Запросто. Да, кроме того, Мишке думать некогда. Не успевает. Так и прут из него слова всякие. Проколот как-то колесо, остановился, вынул железяку: «Во, какая караганда!..» Ни к селу ни к городу. Но, вообще-то, Мишка не так уж прост. И вопросы иной раз задает самые что ни на есть «роковые» — голову поломаешь... и работу он знает. Свою машину быстрее всех отремонтирует да еще друзьям поможет. Потому и прощается Мишке многое. Потому и Павел Данилович не стал сейчас упрекать его за эту бесцеремонную заполошность, за панибратский тон. «Колерок ответственный», видите ли... Охломон! Подхватил, подначивает... И просто удивительно, как это люди узнают про все так быстро?

Дело было совсем недавно. Один начальник позвал маляров побелить-покрасить кабинет. Те спрашивают: «Какой колерок иметь желаете?» А заказчик мнется и никак не может придумать этот самый колерок. Пот платком утирает. Наконец говорит: «Приходите завтра. Я решу...» Сходил он под каким-то предлогом к главному начальству, высмотрел, какой там колер, и, когда пришли опять маляры, без всякого колебания ткнул пальцем: «Вот такой, как у Семен Семеныча».

Свидетели были. И пошло как анекдот: «А вдруг придет Семен Семеныч!..» «Сделайте, как у Семен Семеныча». «Чтоб все, как у Семен Семеныча...»

— Хороший маляр? Да? — повторил Мишка вопрос.

— Это... бывший товарищ. Вместе учились в институте.

— Во как! Во как судьба играет человеком!

— Гм... Играет... Она у него, может, поинтересней, чем у нас с тобой.

— Брехня, однако, Павел Данилович?

— Слушай, Мишка... Ты как скажешь иной раз...

— Извиняюсь... Понял. Буду выбирать выражения.

Мишка вырулил на улицу, ведущую к парому, вогнал машину в свой ряд и, расслабься на сиденье, пустился рассуждать. Дескать, так-то оно так. Маляр, шофер, каменщик, крановщик... Вроде бы просто работяги. А зарабатывают, как посмотришь, куда больше, чем люди с образованием. Зачем же тогда было учиться-тратиться?

Павел Данилович хотел было пожурить Мишку. Дескать, нельзя так потребительски рассуждать. Учиться — всегда пригодится. Не сегодня, так завтра. И вообще... Сам Павел Данилович мог бы без шофера обойтись, если бы техобслуживание было на должном уровне. А шоферы пусть бы ГЭСы да БАМы строили. Но вспомнил, что Мишка и сам учится в вечерней школе и в техникум поступать собирается, ничего не сказал. Вспомнился неловкий разговор с Братшиным. Собственно, он-то его, может быть, и тревожил сейчас, не давал забыться. Получалось, что не так-то просто все это объяснить-соединить. А все равно задела его Мишкины слова. Краешком ума захватил их, не выпускает. «Зачем, видишь ли, учиться, если шофер больше инженера...»

Павел Данилович работал зоотехником по племенному делу, но, в общем-то, разбирался и в экономике. Иначе какой бы он был специалист? Вот и начал он объяснять Мишке. Мол, для того чтобы платить каждому столько, сколько он в силах заработать, надо располагать гораздо большими фондами зарплаты — с резервом. А где сразу взять такие деньги? Они ведь все до копейки у нас распределены да расчитаны. Плановая система...

Мишку удивить почти невозможно. Плановая система? Понятно. А как же! По одежке протягивай ножки, прикидывай да рассчитывай, что вперед делать, что потом. Хозрасчет? Так он в каждой семье существует. Бригадный подряд? Так шабашники когда еще освоили его!.. Все понятно Мишке, кроме тех причин и пружин, которые «играют» человеком и двигают его в ту или другую сторону. А Мишке-то хотелось бы видеть это, как свои пять пальцев или как пешки на шахматной доске. Видеть и «играть».

— Так для того ты, Мишка, и учишься, наверно? А человеком... человеком движет, я думаю, то, что заложено в него с детства. Как вот мотор в твоей машине... Если хорошо сделан, так и ездим хорошо. А плохо, так мучаемся только... Но в машине-то мотор заменить можно. А в человеке?

— Во-во! У меня племянница — хромоножка. Недавно ей ногу специально ломали, вытягивали и сращивали как надо. Намучилась, бедняжка! А если бы, говорят, в детстве так-то сделать, так куда проще, лучше и надежнее было бы.

— Ногу-то что, Мишка. А вот душу... Каждому можно сломать ее, а вот как выправить потом?

— Правильно, Павел Данилович! И до чего же мне приятно с вами рассуждать, — опять Мишка не утерпел подначить, — а то некоторые «протчие» как начнут объяснять, так ни хрена не поймешь.

Под всякими «протчими» Мишка разумел тех, кого возить ему приходилось. Каких разговоров наслушался! Одно лето возил он зоотехничку по племенному делу, как сейчас Павла Даниловича. В годах уже, холостячка. Вреднющая! Как вцепится, как начнет распекать да воспитывать!.. Даже Мишке, от которого все, как горох, отлетает, иной раз взвыть хотелось. И все — по инструкции. Так что и Мишка почти на-

зубок знал эти племенные наставления. Приехали как-то в колхоз. Она сразу председателя «есть» принялась, а Мишке велела рулить на ферму и там ждать ее. Подкатил Мишка к ферме, взял под мышку портфельшко, в котором у него, кроме «Огонька» да бутербродов, ничего не было, напустил важности-строгости и шасть в красный уголок, где доярки шумели. И давай, давай воспитывать их по инструкции. А ругать, оно всегда найдется за что. Шпарит Мишка, в краску народ вгоняет, а потом как шут гороховый:

— Н-ну, как я вас?! Эх, вы-ы! Я же всего лишь извозчик...

Мишка любил «погутарить» с доярками. Едва они успели пошуметь, поняв, в чем дело, как появилась зоотехничка и давай повторять Мишкин «номер». А у доярок — никакой серьезности. Смеются. Испортил Мишка обедню. Шибко злая она уехала с фермы...

Что касается Павла Даниловича, то он хоть и неловко себя чувствовал иной раз, когда Мишка шута из себя строил, но в душе уважал его. Уважал за избыток жизни, за сноровку и молниеносную реакцию за рулем. Мишка чувствовал это, да и цену знал себе, и, может, потому позволял вольности и шутки. Иной раз и настроения нет, а Мишка развеселит...

— Это вы правильно, Павел Данилович, что с детства... Я вот про своего пацана думаю. Один, и тот от рук отбился. Мы же все время на работе. У вас ведь тоже один?

— Один. Нынче у многих так, Мишка... — задумчиво сказал Павел Данилович, а сам опять вспомнил о Братшине. Ведь это легко сказать только! Время было трудное, а он учился, ума набирался, вкалывал по пристаням, да еще трое детей на руках было! А вырастил, воспитал. И, наверно, не хуже, чем у людей. Это что же такое получается? Большой ценности, чем дети, на свете не было и быть, кажется, не может, а вроде бы не та уж цена им теперь. Хуже жили — больше рожали. Лучше жить стали — меньше рожают. Вот и подумаешь. А Братшин... Четверых вырастил и сам неплохо выглядит. Вот такие дела...

И кольнуло Павла Даниловича что-то похожее на упрек, угрызение. Вообще, Братшин не выходил из головы. Да еще Мишка со своими рассуждениями чем-то напоминал его. Есть ли нынче дистанция, и велика ли она между «работягами», как выражался Мишка, и «умственной интеллигенцией» — начальством? Служебная дистанция — не в счет. Хочешь не хочешь — она существует, как, скажем, коробка передач в автомашине. А потом еще и рулит кто-то. Тут интересна дистанция чисто человеческая, которой, в понятии Мишки, быть не должно. И нечего ему ходить «на полусогнутых» перед всякими да стесняться чего-то. Если ты и на высокой ступеньке находишься, не видно, что человек ты нечестный и непорядочный, то никакими пирогами не заставишь себя уважать...

— Мы тоже маленько разбираемся. Правда же, Павел Данилович?

— Конечно, Мишка. Если бы не такие, как ты да...

Павел Данилович хотел сказать: «Ты да Юрка Братшин», но сказал другое:

— То и хорошо, Мишка, что народ соображает.

— И кино смотрим, и газетки читаем, и книжки. Да книжки-то, может, побольше вашего. Вас гоняют по заседаниям, бумагами заваливают, отчетами, а я сижу в машине, жду вас и книжки читаю. А как же?!

— А говоришь: зачем диплом, зачем учиться?

— Э-э! Вот в том-то и суть — зачем. Просто для диплома и специ-

альности или чтобы человеком был. Че-ло-веком! — Мишка воздел палец к небу. — Есть разница?

— Есть, Мишка. Не тебе одному это в голову приходило. Говорят: надо два диплома выдавать. Один — за знания. Другой — за личность. Какая ты есть личность.

— Во-во-во! — обрадовался Мишка. — А какой диплом важнее? Че-ло-веческий. Я так думаю. А все остальное — приложится.

Мишка наддал газу, но на паром все-таки опоздал. Теперь надо было ждать следующего.

— Ну что ж. Посидим. Языком поработаем, — сказал Мишка, пристраиваясь в хвост очереди на третий причал.

Языком Мишка работал теперь в том направлении, что учеба учебе — рознь. Может, кое-кому вообще не надо много учиться. Главное — найти любимую работу. А она — любимая — сама заставит учиться тому, что требуется для нее. А то: учись, учись. Потом, мол, хоть где работать сможешь. А все это ерунда. Надо учиться по любви, а не вообще.

Павел Данилович тоже такие рассуждения уже слышал. Дескать, если бы сразу учили тому, что по душе, и не пичкали тем, что иным и в голову не лезет, так человек куда бы дальше продвинулся.

А Мишка уже про отца, покойника, рассказывал. Шебутной был, говорит. Стахановец. На трудодни почти ничего не получал, а все равно работал — будь здоров! Так это что? Значит, сознательный шибко? Не-ет, Павел Данилович. Он очень любил свое дело. Земе-ельку любил.

— Я слышал, Мишка: «Любовь нам во спасение дана...» В широком смысле.

— А я что говорю? Любить, уважать, увлекаться... Правда, мне вот что непонятно, Павел Данилович: раньше перед всяким грамотным человеком шапку снимали. Уважали. Учитель, фельдшер, коновал!.. Что вы! Ученые люди! Завидовали им. А теперь такими всякими хоть пруд пруди. И шапку никто не снимает...

Ох, Мишка! Опять он поворачивал туда же: стоит много учиться или нет. Ведь кто-то должен и рулить, как он.

— Знаешь, Мишка. Я когда-то с большим удивлением смотрел на велосипед, чем теперь на сверхзвуковой самолет. Ученые, говоришь, с дипломами... хоть пруд пруди. Так что же? Перед всеми теперь шапку ломать? Да и учили-то всех за государственный кошт, черт побери!

— А я что говорю?! — заорал Мишка. — И я говорю: все с дипломами да ученые, а разве все — сверхзвуковые? Может, один из тыщи. Остальные все те же «лисопеды»... И зарабатывают, я говорю, меньше, чем простые работяги. Значит, такова им и цена? А? Зачем же было учиться-то?..

— Ну, брат. Начинается сказочка про белого бычка. Мы же с этого с тобой начинали, а ты опять...

— Сказочка, сказочка, — невесело проворчал Мишка, что было даже как-то непохоже на него. — Мне стопроцентная ясность нужна, а вы: сказочка...

«Ясность нужна...» Ох, всем она нужна, ясность-то. Мне тоже, может быть, нужна, кое в чем...

Мишка вдруг погнал машину, высмотрев «окошечко», и в самую притирку с громадным К-700 проскочил на паромный въезд. Вообще, этот въезд требовал большой аккуратности и сноровки, и всякий раз Мишка проделывал это с такой лихостью, что у Павла Даниловича прерывалось дыхание.

— Ну, ты даешь! Сколько раз говорить, чтоб не делал так? Чапаев!

— Век скоростей и точности. Будь спок! — с комической гордели-

востью сказал Мишка и распрямился, откидываясь на спинку сиденья. — И вообще, для чего я здесь? — Мишка похлопал по баранке лапчатой, красноватой рукой и подмигнул Павлу Даниловичу: не тушуйся, мол.

Павел Данилович хмыкнул укоризненно, открыл дверцу и достал папиросу.

— Курить на пароме воспрещается, — сказал Мишка. — Давайте лучше подышим свежим воздухом... Эх! Люблю простор речной волны! — Мишка лихо заломил за голову руки, потянулся — косточки хрустнули.

Машина стояла на краю парома, у перил, и вид отсюда открывался на всю ширь реки, на степное заречье. Когда паром стал разворачиваться, все это плавно, как в кино на экране, двинулось навстречу. С лаской Мишка проследил, как разворачивается громада парома, заставленная большими и малыми машинами и кишашая народом, как вздымаются и расходятся косяками волны, как блестит на солнце рябь, поднятая встречным ветерком, как относит куделистый дымок с кормы парома поперек реки. Сколько уж раз Мишка переплывал вот так, а всякий раз чувствовал ребячью радость. Хорошо, да и все тут.

— Поехали-и-и...

А Павел Данилович призадумался. Такой денек ему выпал сегодня. Юрка встретился, и Мишка, считай, в душу залез. И все глубже уходил он в себя, как бы прислушиваясь к тому, что было на душе, и нащупывая в ней то самое, что вставало из прошлого и тревожило. Так ли он жил и так ли делал все, как надо? Непонятное, странное было на душе, болезненно похожее на то, что случилось уже когда-то с ним или с другими. Но когда, где? Что это было? Почему?

Да, да. Было уже что-то очень похожее на сегодняшнее состояние, когда он увидел Юрку Братшина. Обстановка, обстоятельства, слова, ощущения и эта грусть, это чувство некоей вины, ошибки или утраты... И вроде бы внутренний протест против чего-то, что уже не изменишь, не воротишь, не поправишь.

Неужто все это от встречи с Братшиным? Учились вместе, «качали», делились мыслями, спорили, песни пели. Были, как говорится, обоюдность и понимание. И вот встретились опять и даже не поговорили как следует. Отчужденность, несовместимость получается, что ли? А ведь было согласие! Тогда Братшин был вот такой же молодой и шепутной, как этот шофер Мишка. Тьфу, черт! Да ведь тогда-то Чухарев и Братшин мало отличались друг от друга. Но с этим-то, с Мишкой-то, почему так много общего? «Стопроцентная ясность нужна»? Так всем она нужна. Разные ведь они, и время разное, а вот стоят как-то рядышком, будто один из другого вышел.

Братшин считался способным парнем, даже талантливым. С характером, конечно, с норовом. На занятия ходил по своему усмотрению. Два дня в неделю обязательно пропустит. Спрашивали, ругали в деканате. А ответ один: работал. Семья. Помогать некому. Одна стипендия.

Да. У Братшина уже была семья. Жена, мать, теща, дети. Старших сестер и братьев не было. Отец с войны не вернулся. Жена работала в бухгалтерии лесосплавной конторы, мать с тещей занимались огородом. Но без «кайка», который Юрка еженедельно приносил домой, было бы не прожить.

Павел Данилович — тогда просто Пашка Чухарев — при первом знакомстве нашел в Братшине немало как странностей, так и достоинств. Был он на год или на два старше Чухарева. Высок, плечист, красив, силен, резковат и почти всегда — в «робе». Ну а Пашка Чуха-

рев был, как говорится, в доску деревенским, доверчивым, стеснительным, с упрощенными представлениями о городской жизни. Он всегда сильно робел перед всяким начальством—краснел и заикался.

Братшину не нравились такие вахлаки, и он всячески выколачивал это, внушая Пашке мысль о человеческом достоинстве. И если бы Пашка не был с детства приучен ко всякой работе и не вкалывал наравне с Братшиным, таская кули с мукой, солью или сахаром, катая бочки с рыбой, разгружая вагоны с углем или цементом, то Братшин, может, и не взял бы его в бригаду. Вот так вместе с Братшиным, который постоянно шумел и спорил насчет расценок, нарядов и справедливости, постепенно пообтерся и Пашка Чухарев.

На третьем курсе он и сам стал горланить, требовать справедливости. И Юрка не только признал его как равноправного работягу, но иногда и за себя оставлял, если самому надо было вести «каячные» переговоры и поиски. У того и другого нашлось что-то общее. Любили дружную мужскую работу, превыше всего ценили товарищество. Оба любили читать. Юрка будто бы оттого и зрение испортил еще в школе, очки носил. Оба любили петь тогдашние современные и русские народные песни. Правда, Юрка еще и арии пел. Он обладал диковатым, но сильным голосом, играл на мандолине и балалайке, любил порассуждать об искусстве, живой и неживой природе. В общем и целом Братшин казался Чухареву более интересным человеком среди тех, с кем начинал учиться.

Однако чем дальше, тем больше замечал Чухарев, что многие не разделяют его отношения к Братшину. Даже такие, кто по человеческим достоинствам стоял явно ниже Юрки, либо в открытую, либо про себя считали Братшина человеком с заскоком и неудобным. Ну как же! Разумники, у которых материальное и семейное положение было куда лучше Юркиного, и то не сразу пошли учиться, сначала устроились на работу. Ведь сначала надо материально обеспечить. Юрка же и техникум закончил, и в институт поступил, опираясь все на ту же «базу»—на собственный горб, на «каяк». Учеба в институте требует очень много и сил и времени, а Юрке не только себя, но и семью содержать надо. Экий, право!.. Другие ребята, если с деньгами у них или одежкой туго было, предпочитали с книжками и конспектами на койках лежать, чтобы зря калории не тратить и одежду-обувку не трепать, а Юрка ходил по городу в выдавшей виды «робе», искал «каяк» и работал как одержимый. Когда выпадало свободное время, он, придя на занятия, просил конспекты у Риточки Журавлевой и бегло просматривал их. Риточка успевала записывать все лекции, почти слово в слово, да к тому же—большими красивыми буквами. И, хоть сама не была отличницей, но многие, кто пользовался ее конспектами, отвечали на пятерки. Иногда на пятерки отвечал и Юрка. Но чаще отметки были средние, «международные». В принципе, Юрка мог учиться и хорошо. Но не учился. Опять не как все. Большинство ребят общеобразовательные предметы старались, как говорится, «спихнуть», а специальные учили более основательно. Юрка же специальные считал голой теорией, которую еще надо проверять да подтверждать, а программу общеобразовательных дисциплин—слишком узкой. По его мнению, эту программу надо было расширить, ибо общее, хорошее общее, образование делает Личность.

В техникуме, а потом в институте, кроме учебы и «каячных работ», Юрка время от времени занимался спортом и художественной самодеятельностью. Начинал он, говорят, с классической борьбы. Новичков побеждал запросто. А когда стал бороться с мастерами, понял: одной силой не взять. Злился, нарушал правила, бранился. Бросил борьбу,

заялся боксом. Руки у Юрки длинные, сильные. Ударом быка свалит. А попасть в противника не может. Не собран, не организован он... И с таким-то недостатком в бокс попер! Чудила!

Но, спасибо матери, отцу ли, Юрка с детства приучен был работать. Значит, у него были основания уважать себя и требовать к себе уважения. Вот почему Юрка в открытую ставил себя выше тех, кто преуспевал за счет родительских стараний и страданий.

Об уважении к человеку, о том, кто и чего стоит, о добре и зле много говорили Братшин и Чухарев где-нибудь внутри только что разгруженной баржи. После хорошего дела Братшин, довольный собой, затягивал могучие народные песни или арии: «О дайте, дайте мне свободу...» Или: «Сатана там правит бал...» Юркин голос, многократно усиленный утробой пустой железной баржи, гремел тогда красиво и грозно.

В институте Братшин иногда играл в струнном оркестре, солировал на мандолине и балалайке. Иногда настолько удачно, что — шум по институту. «Вам, Братшин, надо учиться... Надо думать, на какую профессию курс держать...» — говорили ему тогда. А иногда — полный конфуз... Одним из таких конфузов и закончились Юркины выступления. На этом вечере, говорят, была и Юркина жена и, говорят, сильно переживала. Юрка сыграл на балалайке «Светит месяц». Так сыграл, что дважды на бис вызывали. И вот он решил удивить народ новым неожиданным номером — сыграть на балалайке полонез Огинского.

Играл Юрка так, будто одним махом хотел развенчать все дурное и возвысить то, ради чего жить стоит, бороться, умереть. Играл громче, чем следовало бы, яростней. И вот, когда музыка перешла в набат, в гимн, когда она торжественно, красиво и яростно овладела залом, когда загудели и сплелись тоска, боль, любовь, надежда и призыв, — в этом месте на Юркиной балалайке лопнуло сразу две струны...

Говорят, великий скрипач Паганини однажды доиграл свой концерт на одной струне... Но то был Паганини, а здесь был просто Юрка Братшин. Юрка встал, развел руки, в одной из которых, перехваченная за тоненькую шейку, зажата была как бы надломленная, умирающая маленькая балалайка, поклонился и широким быстрым шагом скрылся за кулисами «навсегда».

Как знать, может, Юрка еще когда-нибудь выступил бы в концерте. Но вышло так, что этот же самый полонез в тот вечер по просьбе зрителей сыграл другой музыкант. Скрипач. А скрипка в институтской самодеятельности появилась тогда впервые и принята была до того хорошо, что исполнитель не однажды вызван был на бис.

А Юрке, наверно, было горько. И, наверно, никто особенно не сочувствовал ему, кроме жены да нескольких товарищей. Чудак, что взять с него...

Так подробно, шаг за шагом, Павел Данилович думал о Юрке впервые. Случалось, и раньше думал, но все как-то мельком, отрывочно. Встретится Юрка, мелькнет, напомним о себе, а потом опять забудется. А сейчас слушает Павел Данилович Мишкины рассуждения, а Юрка вроде бы тут же в одном лице с Мишкой. Видит, как Мишка вышел из машины и, облокотившись о перила, на воду смотрит, а кажется: Юрка. Сейчас как-то все объяснить захотелось, понять Юрку и оправдать, что ли. Да и в самом себе не мешало бы разобраться. С возрастом к Павлу Даниловичу иногда стали приходиться такие минуты. Вспомнит что-нибудь — и неловко, стыдно станет. «Не так бы надо... Не прав я был... Зачем я промолчал тогда?!»

Всякое говорили о Юрке. Такой-сякой... Непостоянный... А ведь был он в своем духе всегда постоянен и, значит, постоянной других.

И, конечно же, более честен, чем некоторые послушники и умники повышенной стипендии. Ведь это надо же! Иные слезами плакали из-за троек и ходили вымогать разрешение на пересдачу. И пересдавали. И числились в лучших. Тьфу, черт!.. Прошли годы, и оказалось, что на гребне жизни и у главных нынешних рулей стоят вовсе не они — бывшие плакальщики-пятерошники, всегда примерные в поведении. Пожалуй, один только Витя Возников не осрамился. Так это же какой парень! Как начал с круглых пятерок, так и закончил. К тридцати годам стал кандидатом наук, а к сорока — доктором. Может, академиком будет. А остальные? Где они? Не слышно что-то, не гремят ни в научных, ни в производственных, ни в руководящих сферах.

Сам Павел Данилович в институте считался середнячком. Однажды и он пересдавал, «двойку» исправлял, чтобы без стипендии не остаться. Ведь Пашке Чухареву тоже помогать было некому. Мать, а с ней — трое младших. В деревне жили, огородом кормились. В общем-то, по тогдашним временам, терпимо жили. Общественник и культмассовик из Пашки Чухарева тоже был заурядный. Пел в хоре, ходил агитатором, занимался в научном кружке. Ох, этот кружок! Стыдно вспомнить. Изучали микроклимат в скотских помещениях. Сколько там влаги, да аммиаку, да сероводорода... А приборов — никаких. На глазок или в учебник заглянешь, сколько там «от и до» бывает, и пишешь средненькое. А завкафедрой потом все это обобщает и выдает как науку. Докторскую готовил. Черт его знает. Видели ведь, что халтура, ерунда, а делали... Братшин не стал бы делать. Нет! Словом, ничем особым Пашка Чухарев не отличался. А вот Братшин... Братшин был начитанней, дотошней, со своей особенкой, со своим мнением. «Бузила». «Неудобный человек...»

За пятнадцать минут паром пересек реку, ошвартовался, и началась выгрузка. Мишка залез в машину и ждал своей очереди, следя за муравейно шевелящимся паромом, и давал короткие сигналы, если какой-нибудь грузовик пятился на него. Потом и Мишка вырулил — лихо, как обычно, — и сильно встряхнул Павла Даниловича на съезде с причальной баржи.

Когда поднялись на берег и машина покатила по асфальтированному шоссе, Мишка вспомнил прерванный разговор. Он что-то говорил о приспособленцах, которых он, Мишка Лямин, «в гробу видал», о «дятлах», которые долдонят одно и то же и отшибают всякую охоту слушать их... Однако Павел Данилович почти не слышал его. Вернее, слышал слова, но не вникал в суть, все более предаваясь воспоминаниям о прошлом — о совместной учебе с Братшиным. Павел Данилович иногда поддакивал Мишке, кивал головой, но все невпопад, и, поняв, что он призадумался, Мишка тоже замолк.

Дойдя мысленно до той поры, когда он, Чухарев, и Юрка Братшин вместе оказались на практике в Боровлянской МТС, Павел Данилович гмыкнул, колыхнулся и, крутнув подбородком, засмеялся.

— Об чем изволите? — тотчас шутливо спросил Мишка, радуясь, что опять поговорить можно, да еще о смешном, быть может.

— Вспомнил, как мы с этим человеком... с маляром с тем, на производственной практике были. — Глаза у Павла Даниловича сощурились, потеплели, мечтательность обозначилась. Подумав еще немного, он вздохнул и начал рассказывать...

Лет двадцать назад, когда сельские специалисты работали при МТС, Юрку Братшина поставили на время практики главным зоотехником, имея в виду, что и после института он вернется на эту должность сюда же. Ну а Пашку Чухарева назначили участковым зоотехником, и оказался он в подчинении у Братшина. Колхоз, куда опре-

делили Чухарева, был километрах в двух от МТС, и друзья, при желании, могли навещать друг друга ежедневно. Председатель колхоза отвел Пашку к бабке Окунихе, договорился насчет питания. Недорого вышло и «сердито». Бабка Окуниха кормила хорошо по тогдашним временам. И изба у нее была теплая. Но спать пришлось на ларе, у порога. А там стоял теленок и ночами, бывало, жевал Пашкины уши и волосы. Братшина же устроили в энтээсовском бараке, где жили семьи рабочих. Под этой же крышей была контора.

У Братшина была хорошая отдельная комната — кабинет. Стол, кровать, тумбочка, телефон. Все как надо. Он почувствовал себя «человеком на ногах». Ведь к этому пробивался не за счет папеньки с маменькой, как другие, а за счет собственных усилий и пота. Это понимать надо, ценить.

Он еще не подумал, как будет питаться, считая это дело второстепенным. Об этом должно было, по его мнению, позаботиться энтээсовское начальство. Однако единственная услуга, которую оказали Юрке, состояла в том, что по его просьбе выдали ему в конторе отчеты, ведомости, акты обследования состояния животноводства. Первый день за ними он и провел, стараясь представить, что стоит за тем или иным показателем. К вечеру Братшин имел кое-какое представление о делах в колхозах зоны Боровлянской МТС. Аховые дела! Кормов и половины не было заготовлено. Дело шло к весне, и началась бескормица! Боевое настроение у Братшина упало к нулю. Предстояло ему расхлебывать чье-то преступное наследство. А тут еще голод проклятый... Весь день ходил голодный. Все не как у людей...

Юрка ходил по комнате, мысленно ругая руководство, которое до сих пор сообразить не могло, что без кормов нечего и скотину держать. Не могло оно сообразить и о ней позаботиться. И Чухарев не пришел, хотя мог бы. Юрка приехал работать на совесть, можно сказать, спасти положение, а тут такое отношение!.. Он, кажется, разгадал тактику местных руководителей: «Им тут на животноводство так же наплевать, как и на меня сейчас. Ну уж, дудки! Мы еще посмотрим: кто кого!»

Следующий день прошел точно так же. Юрка не выходил из комнаты, вроде как забастовку устроил, вынуждая начальство вспомнить о нем и устыдиться. А если он заболел, неживой уже, и никому дела нет. «Вот народ!»

На третий день он тоже не вышел из кабинета — сбегал до ветру и назад. На бумаги он теперь и смотреть не мог — опротивели. Особенно бесили его объяснительные записки. Выполняя постановление или решение, труженики «прониклись... пересмотрели обязательства...» и так далее. А в итоге, как задницей в грязь... Процент падежа огромный. Продуктивность мизерная. Кормов нет... Тьфу, деятели!

Открыв чемоданишко, главной поклажей которого были книги. Юрка навалился на чтение Салтыкова-Щедрина, произведения которого, как считал он, всегда били кое-кому в морду.

К вечеру третьего дня вдруг раздался резкий, как выстрел, и требовательный телефонный звонок. Юрка в это время в очках, с прилипшим к позвоночнику животом лежал на койке с книгой. Спрыгнул с койки, взял трубку и сквозь стиснутые зубы сказал: «Д-да». Сказал далеко не почтительно и не весело. А в трубке голос был сочный, сытый, напористый и строгий:

— Это главный зоотехник?

— Д-да! — прежним тоном ответил Братшин.

— Почему не сдаете мясо?!

— Какое вам тут мясо?! — яростно взревел Братшин и бросил трубку...

Так началась его аграрная деятельность. И пошло-поехало. Накатал Братшин докладную в трех экземплярах — директору МТС, секретарю райкома и своему декану. В докладной привел факты и примеры, взятые из годовых отчетов, по которым легко понять, какой страшный убыток приносит животноводство при недостатке кормов. Умный хозяин на зиму оставляет ровно столько животных, сколько прокормить можно. А глупый... Глупому нужны хвосты да головы для отчета. А к весне, глядишь, и считать нечего. И причина тут очень простая. Одно дело, на сотню голов разделить и кормить как следует, другое — на тысячу. Если — на сотню, то все будут живы-здоровы и молока — залейся. И уход только за сотней. А если на тысячу, то коровенкам достанется в десять раз меньше. С голоду передохнут все буренки. В итоге — ни буренок, ни молока... Так где же логика?

Братшин призывал соблюдать логику, здравый смысл, иначе будет опозорена и зоотехния как наука. Ведь это же страшное дело, когда зоотехники занимаются дурацкой колготой — ездят, достают, выменивают, умоляют дать кормов каких-нибудь. И куда ездят? В город! Ведь это же все равно, что инженера-металлурга заставлять заниматься сбором металлолома!

В общем-то, правильная докладная, но... Братшин пустился еще в объяснения социальных причин и в горячах наворотил отсебятины. «Безответственные люди... слепые исполнители указаний... трусливые безграмотные горлопаны...» Вот что, по мнению Братшина, было причиной того положения, в котором оказались буренки в зоне Боровлянской МТС.

А причины были сложнее. Ох, куда сложнее, как теперь подумаешь! Чудак Братшин. Право, чудак.

Беседовали с ним. Шумел он. Но однажды исчез и у него боевой запал. Все. Баста. Почувствовал, а может, понял, что со своим дурным характером ничего не добьется, что в лучшие годы своей жизни никаких гор не сдвинет и ничего полезного и громкого на этом поприще не сделает. Да и деревни не знал он. Это он понял, когда разобрался, что причины «ахового» состояния дел в животноводстве куда глубже и серьезнее, чем он думал вначале. Забуксовало ретивое в Юрке, вроде как случилось короткое замыкание.

А по специальности Братшин полагал работать так же весомо и наглядно, как это получалось у него в «каячных» делах. Вот она, работа, и вот вам — результат. Пожалуйста, получайте. Но тут... тут у него и в руках-то ничего не было. Один язык в его распоряжении. Помещения, корма и коровы — колхозные. Машины эмтээсовские, а он при всем при этом — лишь советчик.

Нужно было очень большое терпение — настоящее, крестьянское. А он не крестьянин. Нет, не крестьянин он... И он не захотел обманывать ни себя, ни людей, ни работу, подал заявление об увольнении, собрал чемоданишко и, оставив практику, уехал в город. В институте он с тех пор не появлялся, лишь изредка видели его на какой-нибудь стройке... Малярил Юрка Братшин. И малярил, по всей видимости, толково, счастливо. И доволен был своим положением.

А Чухарев выстоял. Вернее, вытерпел. На это терпение-то, можно сказать, и ушли лучшие годы. Ничего он такого «громкого» не сделал. Просто тянул лямку. Не писал никуда, не шумел, как Братшин, бывало, не пытался играть полонез на балалайке. Но, в общем-то, дела теперь шли лучше. А много ли для этого сделал он, Чухарев, — пусть судят люди.